

Олег ГУБАРЬ

Сказ о нас, или Наше всё

универсальный киносценарий в прилагательных

Дом кошкин. Князь Мышкин. Утро раннее. Сон сурковый. Будильник чирикающий. Глазки рачьи. Шаг черепаший. Кашель лающий. Санузел совмещенный. Бачок урчащий. Зеркало кривое. Подбородок двойной. Одеколон тройной. Воспоминания смутные: "Застолье дружеское? Поведение свинское?" Вопрос риторический. Ответ однозначный. Замечание уместное. Холодильник пустой. Аппетит волчий. Завтрак легкий. Погода мерзкая. Холод собачий.

Дождь проливной. Зонттик рыбкин. Троллейбус переполненный. Молвь людская. Топ конский. Уши ослиные. Глаз орлиный (орел двуглавый). Рык львиный. Зубы лошадиные. Клык моржовый. Слово меткое — дорога проторенная. Дом казенный. Подъезд парадный. Размышления праздные. Лестница мраморная. Вахтер сонный. Начальник тупой. Бухгалтер опытный. Секретарша многоопытная. Зарплата символическая. Работа любимая. Труд мартышкин.

Беготня мышья. Перерыв обеденный. Переход подземный. Мечта заветная. Такси муниципальное. Уголок уютный. Уют валютный. Тёлка крутая. Бабочка ночная. Веер китайский. Ковер персидский (б/у). Коньяк французский (фальсифицированный?). Водка столичная. Килька томатная (отечественная!). Клюква развесистая. Музыка вечная. Озеро лебединое. Трели соловьиные. Язык птичий. Вальс собачий. Свадьба собачья. Режим постельный. Одеало верб-

ложье. Прыжок затыжной. Кровать скрипучая. Страсть могучая кипучая никем небедимая. Счастье большое человеческое. Прощанье долгое. Дети кукушкины. Сыны сукины. Дочь капитанская. Слезы крокодилий. Друг верный. Верность лебединая. Услуга медвежья. Мерзавец редкий. Петух гамбургский. Измена коварная. Рога оленьи. Следы человечьи. Шкура овечья. Взгляд приветный. Удар ответный. Скандал кассетный. Печать офсетная.

Пробуждение томительное. Время послеобеденное. Разочарование жестокое. (Шутка издевательская. Каламбур непристойный. Невинность оскорбленная.) Работа любимая... Труд мартышкин. Беготня мышья. Бухгалтер опытный. Зарплата символическая. Начальник тупой. Вахтер сонный. Лестница мраморная. Троллейбус переполненный. Дорога проторенная. Одеколон тройной. Утро раннее...

Юрий СКРОЦКИЙ

Одесса издали

Когда-то мне приснился сон: я приехал в Киев и рассматривал его с одесского балкона в безлюдной серости...

Читая у Конан-Дойля "Союз рыжих", я запомнил почему-то описание безлюдного сквера на задворках Пикадилли...

И были еще стихи Суинберна "Покинутый сад". Там тоже было безлюдно, и хотя построек не было, мне показалось, что над шумящим серым морем там подразумевается стена...

И во всем этом общим была какая-то ритмичность. Что-то правильно, но редко повторялось. Это во-первых. А во-вторых, это что-то не было извилистым, не имело узоров, а было прямым, неопределенного серо-

желтого цвета. И оно завораживало. Отсутствие человека было условным. Т. е. его не было с этой стороны стен. Но он мог бы быть. Суинберн пишет, что цветы не сомнет ничья неосторожная нога. Значит, могла бы. Весь смысл в том и заключался, что все происходило именно с внешней стороны, а не за стенами. И это происходящее трудно было уловить, но происходило оно несомненно. Поэтому отсутствие человека тоже было тем, что происходило.

Так вот. Бульжная мостовая выходила из-под моего балкона на Конной, № 6, и с обеих сторон заканчивалась спусками. Получалось так, что дом с балконом находился на вершине выпуклости, облицованной камнем. Стены с окнами на другой

стороне улицы были тихими, с многочисленными черточками на серо-желтом фоне. Я не мог видеть людей, но из потрескавшегося асфальта тянулись маленькие деревья, и между бульжниками пробивалась сорная трава.

Мне казалось, что если бы черточки собрались в пучки, то очевидно, сначала бы возникли тени людей, автомобилей, чего-то еще. А потом стали бы выпуклыми и обрели бы движение и еще звук. Но сейчас жили сами стены и окна, бульжники на мостовой. А вот деревья и сорная трава были неживыми, но необходимыми.

Балкон был очень широк и его пол тоже немного выгибался. Я потрогал перила и посмотрел на руки. Они были в пыли, которая скопилась в

трещинках дерева, но теплый металлический пол был чист. Я подошел к правому краю и попытался увидеть, куда сползает улица. Она уходила вниз так круто, что можно было видеть только крыши нижних домов на уровне закруглявшегося спуска, выложенного бульжной чешуей. Мне было интересно, что там дальше, и я перешагнул через перила и пошел по теплой стене, стараясь не наступить на окованные стекла. Все окна и даже форточки, несмотря на жару, были закрыты. Осторожно обходя их, я подошел к тротуару и вышел на середину бульжной мостовой. Все вокруг было симметрично и повторялось в жестком чарующем ритме. Каждая линия, однажды начавшись, не могла уже исчезнуть и продолжала жить самостоятельно, бесконечно делясь. Это деление и было тем самым ритмом, который меня завораживал, но мне никак не удавалось увидеть его начало.

Я шел очень долго и, наконец, оглянулся. За мной не было ничего. Это я сразу хорошо понял, но это "ничего" внешне было таким, как ес-

ли б я куда-то уходил. Казалось, шел не я. Под моими ногами передвигалась чешуйчатая спина выпуклой бульжной мостовой, а над головой двигались балконы. Я опять взлез на свой балкон и осматрелся. Все было тем же. Даже то место, где я снял пыль с перил. По-прежнему блуждали черточки. И тогда я вдруг подумал, что единственно живой здесь это я. Стараясь убедиться в этом, я начал ощупывать себя, желая отграничиться от окружающего, неживого. Я внимательно вглядывался в свои руки, ноги. От сильного напряжения зарябило в глазах, и все стало разбегаться в разные стороны. Чем больше я старался определиться, тем скорее растворялся в рассеянном свете, наполненном черточками. Когда я полностью превратился в черточки и исчез, я увидел, что все черточки начали группироваться и приобретать некое невыразимое значение. Понимание этого было мгновенным, и я почувствовал, что обрел нечто самое главное...

С. Петербург

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ

Если бы мой урок вел Виктор Шкловский

Опыт пародии

...Мы приходили в гости к Пушкину, приносили с собой неостывший монтаж "Броненосца Потемкина". Пушкин понимал все. Понял бы и это. Кинематографическое видение молодого, тогда еще худощавого Эйзенштейна было ему раскрыто на два века вперед... За спиной поэта были две главы "Онегина", кое-какие стихи. Хотя до Болдина было еще далеко.

Гроссман, как всегда, ночевал в Императорской библиотеке. Спал на столах, питался бутербродами и думал о Достоевском... Тынников жил тогда в Петербурге, который еще не стал Петроградом.

Ленинград хорошо помнил Пушкина. Петр Первый приходил к Неве, долго смотрел в карело-финскую воду. Ему мерещилось будущее, оснащенная фрегатами Россия, убегающий из Полтавы Карл...

Маяковский жил тогда в Одессе, носил желтую кофту, бережно держал монокль в глазу у Бурлюка и тревожно писал свое "Облако". Никто не помогал ему.

Гении всегда голодают. Маяковский был гением. Бурлюк слишком много знал и поэтом почти не умел рисовать. Зато прекрасно рисовал Пушкин. Такое впечатление, что он подглядывал рисунки Нади Рушевой. Сходство поразительно. Но все было как раз наоборот: история повторяется, не повторяется.

Мы были молоды, жизнь была впереди. Горюх лежал перед нами, как только что разрезанный, дымящийся на солнце торт...

Ласточки по диагонали пересекали палевое небо на улице Жуковского, где позднее выстрелил в себя великий поэт. Здесь я отвлекся: неожиданно в мою прозу вошел высокий элегантный филолог в старорежимной бородке и в чеховском пенсне — теперь уже всему миру известный Бодуэн де Куртене...

И тут же вышел.

Маяковский заканчивал тогда свою "флейту", которую назвал почему-то позвоночником. Куртене говорил о синтаксисе Гоголя. Шершневич, я и Осип Максимович слушали его рассеянно...

За окном нас ждала революция.

Кстати, о синтаксисе. Оказывается, синтаксиса в жизни женщин почти нет. Есть морфология. Может быть, даже одна физиология. Но до этого я не добрался. Аля жила в Париже. Москва была далеко. Я с трудом писал свою прозу в чужом, неудобном Берлине.

Лифшиц был прав: берлинские притоны куда не годились. Там негде было даже поставить машинку. А писать очень хотелось. Письма в Париж шли нескоро. Начиналась весна...

Однажды мне чуть не позвонил из Парижа Всеволод Иванов. Был еще другой Иванов — Вячеслав. Но об этом в другой раз...

Помню песню, которую в юности пел Татлин — в школе живописи, ваяния и зодчества. Там были слова:

"На углу стоит аптека.
Любовь глохнет человека..."

Ее содержание поразило меня. Но послужило лучше Стендаля. Или нет — Мопассана.

Лучше Мопассана. Мопассан знал о них (о женщинах) все. Или почти все. Все знал Толстой. Но не сказал. Жаль. Иначе статьи Луначарского о нем были бы совсем другие... В искусстве время не обратимо. Как и в жизни.

...Светало. Над лужами шли облака. По мостовой торопливо шли Хлебников и Пастернак с Марией Сняжковой. Пил, спивался и неумело скандалил синеглазый Есенин. Айседора Дункан на ледяном полу бурно танцевала босиком в холодном Новочеркаске...

В "Бродячей собаке" по-прежнему подавали ананасную воду. Володю это бесило. Неожиданно поэт прочел "Мартина Идена" и увлекся кино. Так начиналась новая эра в искусстве...

Лев Якубинский прочел "Мистерию-буфф" и был потрясен. В рифмы Маяковского медленно вглядывался Александр Блок. Блок жил тогда на Шпалерной. В комнате плохо топили.

У Блока была цинга. Впрочем, у кого ее тогда не было?

В огромном доме жил Алексей Максимович. Он много курил, кашлял, иногда задумывал-

ся... В доме Горького было тепло, почти ежедневно обедали. Давид Штернберг старательно рисовал, срисовывал у Петрова-Водкина знаменитую петроградскую следку...

Кстати: следку выдавали по карточкам, академиком и чекистам. Потом стали выдавать и поэтам. Но не всем. Однажды дали Блоку... Блок не взял.

В Зимнем топили паркетом. Книжки берегли для будущего. Будущее стояло за углом. Московские туалеты не работали. Тепло одетый Маяковский с упоением писал поэму "Хорошо!".

У Брикков резались в карты. Интересно, как бы повел себя Брюсов, если бы пришел сюда? Но Брюсов не пришел. Маяковского он принимал с оговорками и трудом. Зато безоговорочно приветствовал профессора Потебню, которого мы все очень любили в те голодные годы и дни...

По ночам стреляли. У ЧК было много работы. Ленин почти ежедневно ночевал в Кремле. Ему приносили крепко заваренный чай и сухари. Но без сахара. Сахар Ильич передавал в детском доме.

— Да, батенька мой, — говорил он Горькому, — Россия голодает. Но власть мы не отдадим. Дудки! Попомните мои слова: электрификация плюс советская власть скоро захлестнут всю страну! Насмерть. И поделом ей!

Горький смущенно покашливал и пытался объяснить Ленину трагизм положения русской интеллигенции...

— Бросьте, Алексей Максимович, — все это архиглупость и троекратная чепуха! Угощайтесь!..

И, назвав русскую интеллигенцию говном, радушно пригласил Алексея Максимовича к столу.

— Вот, из Астрахани прислали свежую рыбку... Завтра же — все в детдом!

Ленин интересовался всем. Переворачивал горы контрреволюционной литературы. Часто звонил Дзержинскому. Был непреклонен.

Об апперцепционных процессах интересно писал Авенариус. Ему вторил Мах. Но оба были не в ладах с марксизмом.

Нашим союзником в организации "Опояз" неожиданно оказался Лев Толстой. Писал старик удивительно! Магия его сложноподчиненных предложений пришла к нам из будущего. Но об этом ниже. И чем ниже, тем лучше.

Симулянт сумасшествия называл Володю Корней Чуковский. Потом он изменил свое мнение. Но было уже поздно. Маяковский ему поверил. На эстраде рыдал, бился в конвульсиях большой красивый человек. Кончил неожиданно спокойно, выпил стакан воды, поставил точку и ушел... В первом ряду осторожно аплодировал Илья Зданевич. За границей, давясь устрицами, медленно умирал от смеха Аркадий Аверченко.

И последнее. Я давно хотел написать о Бабеле и Циолковском, Чарли Чаплине и Довженко. О Верлене и Сезанне. У меня на полу скопилось огромное количество материалов о Бурлюке и Якобсоне, об Андрее Белом и негритянском джазе. Я очень люблю прозу Тургенева и Дзиги Вертова. Хотя последний прозу почти не писал.

Я мог бы многое рассказать о последних днях Шекспира, которого, судя по последним публикациям, вообще не было. О Наполеоне, который позорно провалил египетскую кампанию. О дивных красках египтян и минеральных удобрениях Ближнего и Среднего Востока. О пирамиде Хеопса и древней Атлантиде, о ямбе и Корее...

Но лучше вернемся к литературе. ...Сближение Сумарокова с футуризмом может неожиданно оказаться плодотворным. Когда Герберт Уэллс со своим светловолосым сыном остановился у Горького, он с большим трудом понимал смысл происходящего. Уэллс был англичанином. Революция осталась для него за семью печатями.

Когда Ахматова писала: "Он снова тронул мои колени Своей недрогнувшей рукой..." — она невольно восстанавливала в литературе конкретный жест любви. И тем самым вносила посильный вклад в революционное преобразование искусства и жизни. Кто знает?

Я жил в Персии, о которой писал, но в которой никогда не был Есенин. Я смутно помню Катаева, зато хорошо запомнил Грибоедова, которого все-таки убили тогда в Тегеране. Хитрая широкаязада Персия обманула-таки гениального комедиографа. Но Булгарин ошибся: будущее принадлежало Александру.

...Над страной весенний ветер веет. Уже февраль. Скоро март. Но пахнет почему-то апрелем. Значит, уже весна. Впереди май. А там и до июня — рукой подать...

Мне 107 лет. Юность бессмертна. Ветер века дует в мои паруса. Так хочется жить и работать!